In VN’s novel *Podvig* (“Glory,” 1932) Sonia sends Martin (who earns his living in Berlin by giving tennis lessons) a postcard telling him that three strings have snapped on her racket:

Тогда он ей написал письмо, и несколько дней отсутствовал; она ему ответила дней через десять цветной фотографической открыткой; - смазливый молодой мужчина наклоняется сзади над зелёной скамейкой, на которой сидит смазливая молодая женщина, любуясь букетом роз, а внизу золотыми буквами немецкий стишок: "Пускай умалчивает сердце о том, что розы говорят". "Какие миленькие, - написала на обороте Соня, - знай наших! А ты - вот что: приходи, у меня три струны лопнули на ракете".

He wrote her a letter, and stayed away for several days. She replied a week or so later with a color postcard showing a pretty boy bending over the back of a green bench on which sat a pretty girl, admiring a bouquet of roses, with a German rhyme in gilt letters at the bottom: “Let a true heart leave unsaid what is told by roses red.” On the reverse Sonia had scribbled: “Aren’t they sweet? That’s real courtship for you. Look, I need your assistance, three strings have snapped on my racket.” (chapter 34)

In his poem *Tennis* (1913) Mandelshtam says that the strings of lyres are too old and mentions a golden racket’s strings that were strengthened and cast into the world by the ever young Englishman:

Слишком дряхлы струны лир:  
Золотой ракеты струны  
Укрепил и бросил в мир  
Англичанин вечно юный!

At the beginning of his essay on Alexander Blok in “The Silhouettes of Russian Writers” Yuli Ayhenvald says that, when Blok died, on the lyre of new Russian poetry one of its melodious and precious strings was broken:

Когда скончался Блок - на лире новейшей русской поэзии оборвалась одна из её певучих и драгоценных струн. Не так давно мы видели и слышали его; в своеобразной и целомудренной манере своей читал он свои стихи, не помогая им переливами голоса, бесстрастно перебирая их, как монах - свои четки. Теперь мы сами читаем их про себя и вслух, отдаваясь напевам его пленяющего творчества.

Человеческая соловьиность - это лирика. Обычное деление поэзии на лирику, эпос и драму не вполне психологично: в сущности, есть одна только поэзия - лирическая. Душа - книга песен. Недаром говорит Блок о своей "песенной груди". Их, песен, может быть больше и меньше, они могут быть грубее и тоньше, но, как бы то ни было, именно из них, и только из них, состоит наша внутренняя, наша человеческая литература. Прирожденная лиричность души - вот главное; остальное приложится. И эпос, и драма - лишь кристаллизация первородного лиризма. По аналогии с историей мироздания, первичное состояние души тоже газообразно. Да, лирика - нечто газообразное, и опять-таки недаром у того же Блока стих клубится туманами. Душа бестелесна, и оттого ей к лицу не "тяжкая твердость" эпоса или драмы, не их прочная плотность, а бесплотная воздушность лирики. Духу - воздушное. Патрон лириков - Ариэль. Лирический воздух, благодаря которому дышит душа, образует стихию как жизни, так и творчества. Это он внушает душе-поэтессе ее интимные стихи, внятные или безмолвные, - те белые стихи, которые в тишине и тайне слагает каждый. Певучесть - в самой природе Психеи; от душевной музыки идет духовная музыка и всякая иная разновидность вечного лиризма. Душа - это лира.

*Chelovecheskaya solov’yinost’* (“human nightingaleness”) mentioned by Ayhenvald brings to mind the last lines of Derzhavin’s poem *Progulka v Sarskom Sele* (“A Walk in Tsarskoe Selo,” 1791) quoted by Khodasevich in his book “Derzhavin” (1931):

*Poy, Karamzin! I v proze*

*Glas slyshen solov’yin.*

Sing, Karamzin! Even in prose

One can hear the voice of a nightingale.

In a MS note Pushkin says that Karamzin’s *Istoriya Gosudarstva* *Rossiyskogo* (“History of the Russian State,” 1818) is not only a work of a great writer, but also *podvig chestnogo cheloveka* (a heroic deed of a honest man):

Повторяю, что «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.

In his essay *Podvig* (“A Heroic Deed,” 1932) Khodasevich mentions Sirin (VN’s Russian nom de plume):

Как общее явление отмечу вот что: старшие писатели, порой выступая в роли критиков и весьма, даже преувеличенно благожелательно, оценивая писания сверстников, почти вовсе не уделяют внимания писаниям молодежи. Никто, разумеется, не потребовал бы от них непременных похвал (молодежь за этим не гонится), но порой и упрёк, и осуждение свидетельствуют о внимании, о заботе. Этого нет. Если иногда хвалят на словах, - избегают высказаться печатно. Если высказываются, то более о посредственностях, нежели о талантах. Сириным на словах восхищались чуть ли не все (и вполне справедливо) - но кто возвысил свой компетентный голос, чтобы обратить на него внимание публики? Ровным счётом никто.

According to Khodasevich, the only word he can find for the work of the young émigré writers who continue the imperceptible but persistent struggle for their literary existence is *podvig*:

Если лишённые не только приятного, но и самого необходимого, молодые писатели наши всё ещё трудятся, всё ещё ведут неприметную, но упорную борьбу за своё литературное существование, то иначе, как *подвигом,* я этого назвать не могу. Однако же требовать от них "весёлых мотивов", "воздушных образов" и хорошей погоды - хуже, чем жестоко: неумно.

At the end of his essay Khodasevich mentions the future historian who with admiration and wonder will bend down before the *podvig* of the young émigré writers:

Хранят культуру не те, которые вздыхают о прошлом, а те, кто работает для настоящего и будущего. Если эмиграция даст зачахнуть молодой словесности, она не выполнит главного и, может быть, единственного своего назначения. Но и в этом случае будущий историк с любовью и удивлением преклонится перед подвигом тех, о ком я говорю: перед талантливыми и бездарными, перед умными и неумными одинаково, ибо в доброй, в благой, в прекрасной воле своей они все равны.

Red roses on a postcard sent by Sonia seem to hint at Oscar Wilde’s story *The Nightingale and the Rose* (1888) and at Pushkin’s poem *Solovey i roza* (“The Nightingale and the Rose,” 1827):

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,  
Поёт над розою восточный соловей.  
Но роза милая не чувствует, не внемлет,  
И под влюблённый гимн колеблется и дремлет.  
Не так ли ты поёшь для хладной красоты?  
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?  
Она не слушает, не чувствует поэта;  
Глядишь, она цветёт; взываешь — нет ответа.

In gardens’ muteness, in spring, in the nights’ mist,

Over a rose sings the nightingale of East.

But doesn’t feel anything nor hear this charming rose,

And to the loving hymn just swings and calmly dozes.

Not in this way you sing for beauty, cold and hard?

Come to your senses, bard, where do you stream your heart?

She does not hear nor feel the poet’s soul, fervent;

You look – she is in bloom, you call – the answer’s absent.

(tr. E. Bonver)

Near the end of his essay on Blok Ayhenvald quotes the song of the page Aliskan from Blok’s drama *Roza i krest* (“The Rose and the Cross,” 1912) and says that nightingales are always right:

Стоит Блоку только начать, только сказать: "То не ели, не тонкие ели"... и вот вы ещё не поняли, но уже оплетает он вас какими-то нежнейшими шелками звуков, и какая "тихоокая лань" или какая Аэлис не заслушается этого призыва:

Аэлис, о роза, внемли,   
Внемли соловью...   
Все отдам Святые Земли   
За любовь твою...

Соловьи всегда правы. Кто поёт, тот прав. А Блок, наш пленительный менестрель, - поёт. И пусть рассуждения его неубедительны, зато песни его неотразимы.

Недостаёт ему конечного пафоса, и муза его - сомнамбула, вступающая в "обманы и туманы", и нередко явь у него - как сновиденье, как бледная отражённость зеркал, и опьяняется он все-таки (вопреки сказанному нами раньше) не крепким, не терпким, а снежным вином, "легкой брагой снежных хмелей". Но белесоватость и акварельность свою и отсветы снежности он преодолевает, и, по мере нашего дальнейшего проникновения в его лиризм, последний оказывается всё богаче оттенками, но не скуднее воздушностью.

И потому так печально, что Блок безвременно умер, что смерть спугнула этого певца нежнейших песен и разбила хрупкий хрусталь его не высказанных еще стихов.

И кажется, что обители космического лиризма приняли его теперь в свое вечное лоно...

According to Ayhenvald, Blok’s muse is a somnambulist entering *obmany i tumany* (“deceptions and mists”). When Martin leaves Berlin and goes to Provence, he feels that he is definitely free of *Soniny tumany* (Sonia’s nebulous spells):

Как только тронулся поезд, Мартын ожил, повеселел, исполнился дорожного волнения, в котором он теперь усматривал необходимую тренировку. Пересев во французский поезд, идущий через Лион на юг, он как будто окончательно высвободился из Сониных туманов.

As soon as the train began to move, Martin revived, regained his gaiety, began to enjoy the excitement of traveling—something that he considered to be a kind of indispensable training. When he transferred to a French train going south by way of Lyon, it seemed to him that he was definitely free of Sonia’s nebulous spells. (chapter 36)

In his poem *Na smert’ A. Bloka* (“On the Death of Alexander Blok,” 1921) VN twice repeats the word *tumany* (mists):

За туманами плыли туманы,

за луной расцветала луна...

Воспевал он лазурные страны,

где поёт неземная весна. (I)

and mentions Fet’s *krasnye rozy* (red roses):

Пушкин - выпуклый и пышный свет,

Лермонтов - в венке из звёзд прекрасных,

Тютчев - веющий росой, и Фет,

в ризе тонкой, в розах красных.

…И о солнце Пушкин запоёт,

Лермонтов - о звёздах над горами,

Тютчев - о сверканьи звонких вод,

Фет - о розах в вечном храме. (II)

Alexey Sklyarenko